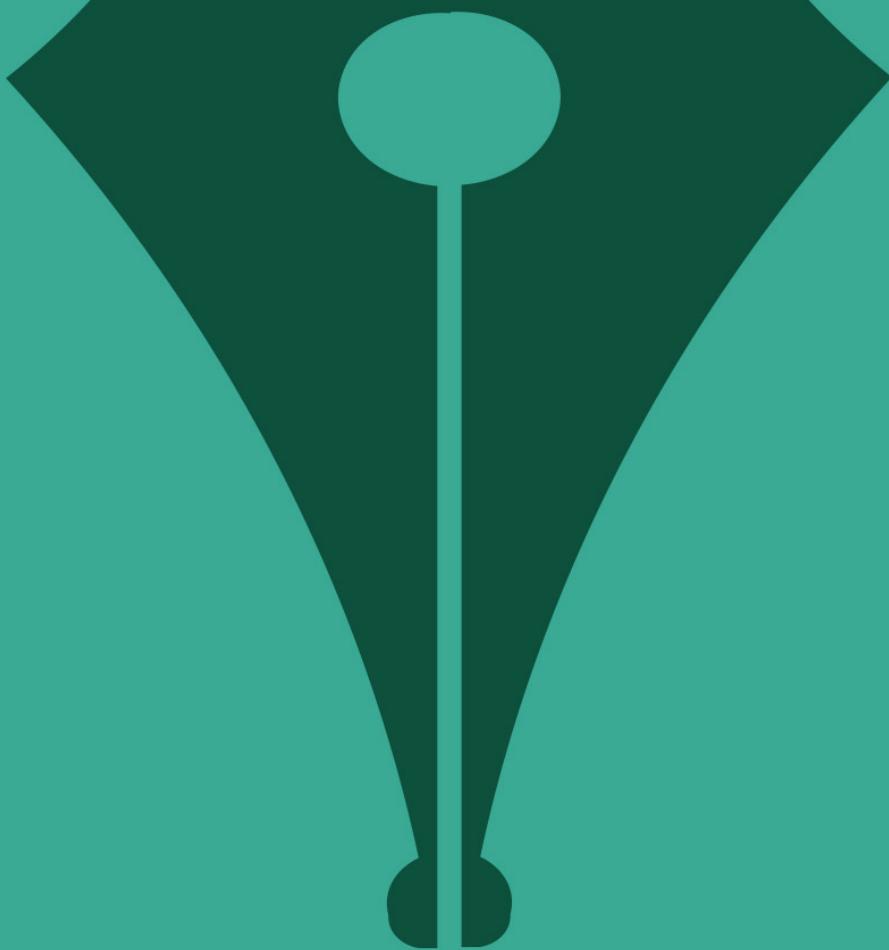


ИВАН БУНИН



ХОРОЩАЯ
ЖИЗНЬ

Иван Бунин

Хорошая жизнь

«ЭКСМО»

1911

Бунин И. А.

Хорошая жизнь / И. А. Бунин — «Эксмо», 1911

«Моя жизнь хорошая была, я, чего мне желалось, всего добилась. Я вот и недвижным имуществом владаю, — старичок-то мой прямо же после свадьбы дом под меня подписал, — и лошадей, и двух коров держу, и торговлю мы имеем. Понятно, не магазин какой-нибудь, а просто лавочку, да по нашей слободе сойдет. Я всегда удачлива была, ну только и характер у меня настойчивый...»

Иван Бунин Хорошая жизнь

Моя жизнь хорошая была, я, чего мне желалось, всего добилась. Я вот и недвижным имуществом владаю, – старишок-то мой прямо же после свадьбы дом под меня подписал, – и лошадей, и двух коров держу, и торговлю мы имеем. Понятно, не магазин какой-нибудь, а просто лавочку, да по нашей слободе сойдет. Я всегда удачлива была, ну только и характер у меня настойчивый.

Насчет занятия всякого меня еще батенька заучил. Он хоть и вдовий был, запойный, а, не хуже меня, ужасный умный, дальний и бессердечный. Как вышла, значит, воля, он и говорит мне:

– Ну, девка, теперь я сам себе голова, давай деньги наживать. Наживем, переедем в город, купим дом на себе, отдашь я тебя замуж за отличного господина, буду царевать. А у своих господ нам нечего сидеть, не стоят они того.

Господа-то наши, и правда, хоть добрые, а бедные-пребедные были, просто сказать – побиушки. Мы и переехали от них в другое село, а дом, скотину и какое было заведение продали. Переехали под самый город, сняли капусту у барышни Мещериной. Она фрелиной при царском дворце была, нехорошая, рябая, в девках поседела вся, никто замуж не взял, ну и жила себе на спокое. Сняли мы, значит, у ней луга, сели, честь честью, в салаши. Стыдь, осень, а нам и горя мало. Сидим, ждем хороших барышей и не чуем беды. А беда-то и вот она, да еще какая беда-то! Дело наше уж к развязке близилось, вдруг – скандал ужасный. Напились мы чаю утром, – праздник был, – я и стою так-то возле салаши, гляжу, как по лугу народ от церкви идет. А батенька по капусте пошел. День светлый такой, хоть и ветреный, я и загляделась, и не вижу, как подходят вдруг ко мне двое мужчин: один священник, высокий этакий, в серой рясе, с палкой, лицо все темное, землистое, грива, как у лошади хорошей, так по ветру и раздымается, а другой – простой мужик, его работник. Подходит к самому салашу. Я оробела, поклонилась и говорю:

– Здравствуйте, батюшка. Благодарим вас, что проведать нас вздумали.

А он, вижу, злой, пасмурный, на меня и не смотрит, стоит, калмышки палкой разбивает.

– А где, – говорит, – твой отец?

– Они, – говорю, – по капусте пошли. Я, мол, если угодно, покликать их могу. Да вон они и сами идут.

– Ну, так скажи ему, чтоб забирал он все свое добришко вместе с самоварчиком этим паршивым и увольнялся отсюда. Нынче мой караульщик сюда придет.

– Как, – говорю, – караульщик? Да мы уж и деньги, девяносто рублей, барыне отдали. Что вы, батюшка? (Я, хоть и молода, а уж продувная была.) Ай вы, – говорю, – смеетесь? Вы, – говорю, – бумагу нам должны предъявить.

– Не разговаривать, – кричит. – Барыня в город переезжает, я у нее луга эти купил, и земля эта теперь моя собственная.

А сам махает, бьет палкой в землю, – того гляди в морду заедет.

Увидел эту историю батенька, бежит к нам, – он у нас ужасный горячий был, – подбегает и спрашивает:

– Что за шум такой? Что вы, батюшка, на нее кричите, а сами не знаете, чего? Вы не можете палкой махать, а должны откровенно объяснить, по какому такому праву капуста вашей сделалась? Мы, мол, люди бедные, мы до суда дойдем. Вы, – говорит, – духовное лицо, вражду не можете иметь, за это вашему брату к святым дарам нельзя касаться.

Батенька-то, выходит, и слова дерзкого ему не сказал, а он, хоть и пастырь, а злой был, как самый обыкновенный серый мужик, и как, значит, услыхал такие слова, так и побелел

весь, слова не может сказать, альни ноги под рясой трясутся. Как завизжит, да как кинется на батеньку, чтобы, значит, по голове палкой его огреть! А батенька увернулся, схватился за палку, вырвал ее у него из рук вон, да об коленку себе – раз! Тот было – на грудь, а батенька пересадил ее пополам, отшвырнул куда подале и кричит:

– Не подходите, за-ради бога, ваше священство! Вы, – кричит, – черный, жуковатый, а я еще жуковатей!

Да и схвати его за руки!

Суд да дело, сослали батеньку за это за самое, за духовное лицо, на поселенье. Осталась я одна на всем белом свете и думаю себе: что ж мне делать теперь? Видно, правдой не проживешь, надо, видно, с оглядочкой. Подумала годок, пожила у тетки, вижу, – деться мне некуды, надо замуж поскорей. Был у батеньки приятель хороший в городе, шорник, – он и посватался. Не сказать чтоб из видных жених, да все-таки выгодный. Нравился мне, правда, один человек, крепко нравился, да тоже бедный, не хуже меня, сам по чужим людям жил, а этот все-таки сам себе хозяин. Приданого за мной копейки не было, а тут, вижу, берут без ничего, как такой случай упустить? Подумала, подумала и пошла, хоть, конечно, знала, что был он пожилой, пьяница, всегда разгоряченный человек, просто сказать – разбойник… Вышла и стала, значит, уж не девка простая, а Настасья Семеновна Жохова, городская мещанка… Понятно, лестно казалось.

С этим мужем я девять лет мучилась. Одно званье, что мещане, а бедность такая, что хоть и мужикам впору! Опять же дрязги, скандалы каждый божий день. Ну, да пожалел меня Господь, прибрал его. Дети от него помирали все, остались только два мальчика, один Ваня, по девятому году, другой младенец на руках. Ужасный веселый, здоровый был мальчик, десяти месяцев стал ходить, разговаривать, – все они у меня, дети-то, на одиннадцатом месяцу начинали ходить и говорить, – сам стал чай пить, уцопится, бывало, обоими ручонками за блюдце, не выдерешь никак… Ну только и этот мальчик помер, году еще не было. Пришла я раз с речки домой, а мужнина сестра, – мы с ней квартеру-то снимали, – и говорит:

– Твой Костя нынче цельный день кричал, закатывался. Я уж перед ним и так и этак, и руками, и в щелчки, и сладкой воды давала – давится, да и только, и вода через нос назад идет. Либо он остудился, либо съел чего, ведь они, дети-то, все в рот тащут, развеглядишь?

Я так и обомлела. Кинулась к люльке, отмахнула положок, а уж он томиться стал: даже и кричать не может. Сбегала сестра за фельшером знакомым, пришел он, – чем вы, говорит, его кормили?

– Ел, мол, кашу манную, только и всего.

– А ничем не играл?

– Так точно, играл, – говорит сестра. – Тут все колечко медное с хомута валялось, он и играл им.

– Ну, – говорит фельшер, – обязательно он его проглотил. Чтоб у вас руки, – говорит, – отсохли! Натворили вы делов, ведь он померет у вас!

Понятно, по его и вышло. Двух часов не прошло – кончился. Повинтовали мы, повинтовали, да делать нечего, – видно, против Бога не пойдешь. Так и этого похоронила, остался один Ваня. Остался один, да ведь, как говорится, и один – господин. Невелик человек, а все не меньше взрослого съест, сопьет. Стала я ходить к воинскому полковнику Никулину полы мыть. Люди они были с капиталом хорошим, квартеру снимали, тридцать рублей помесячно платили. Сами в верхнем этажу, внизу кухня. Стряпуха у них была совсем безответная, а распутная. Ну, и забеременела, понятно. Полы мыть ногинаться нельзя, чугуна из печки не вытащит… Ушла она рожать, а я и захвати ее место: так-то ловко к хозяевам подкатилась. Я ведь, правда, смолоду ловкая и хитрая была, за что, бывало, ни возьмусь, сделаю все чисто, аккуратно, любого официанта засушу, опять же и угодить умела: что ни скажут господа, а я все «дас» да «так точно» да «истинная ваша правда…». Встану, бывало, чуть лунно, полы подотру,

печку истоплю, самовар расчищу, — господа пока проснутся, а уж у меня все готово. Ну, и сама я, понятно, была чистоплотная, ладная, из себя, хоть и сухая, а красивая. Мне ину пору даже жалко, бывало, себя станет: за что, мол, красота моя и звание на этакой черной работе пропадают?

Думаю себе — надо случаем пользоваться. А случай такой, что сам полковник ужасный здоровый был и видеть меня покойно не мог, а полковничиха у него была немка, толстая, большая, старе его годов на десять. Он нехорош, грузный, коротконогий, на кабана похож, а она того хуже. Вижу, стал он за мной ухаживать, в кухне у меня сидеть, курить меня заучать. Как жена со двора, он и вот он. Прогонит денщика в город, будто по делу, и сидит. Надоел мне до смерти, а, понятно, прикидываюсь: и смеюсь, и ногой сижу мотаю, — всячески, значит, разжигаю его... Ведь что ж поделаешь, бедность, а тут, как говорится, хоть шерсти клок, и то дай сюда. Раз как-то в царский день всходит в кухню во всем своем мундире, в эполетах, подпоясан этим своим белым поясом, как обручем, в руках перчатки лайковые, шею надул, застегнул, альни синий стал, весь духами пахнет, глаза блестят, усы черные, толстые... Всходит и говорит:

— Я сейчас с барыней в собор иду, обмакни мне сапоги, а то пыль дюже — не успел по двору пройтись, запылился весь.

Поставил ногу в лаковом сапоге на скамейку, чисто тумбу какую, я нагнулась, хотела обтереть, а он схватил меня за шею, платок даже сдернул, потом затиснул за грудь и уж за печку тащит. Я туда, сюда, никак не выдерусь от него, а он так жаром и обдает, так кровью и наливаются, старается, значит, одолеть меня, поймать за лицо и поцеловать.

— Что вы, — говорю, — делаете! Барыня идет, уйдите за ради Христа!

— Если, — говорит, — полюбишь меня, я для тебя ничего не пожалею!

— Как же, мол, знаем мы эти посулы!

— С места не сойти, умереть мне без покаяния!

Ну, понятно, и прочее тому подобное. А, по совести сказать, что я тогда смыслила? Очень просто могла польститься на его слова, да, слава богу, не вышло его дело. Зажал он меня опять как-то не вовремя, я вырвалась, вся растрепанная, разозлилась до смерти, а она, барыня-то, и вот она: идет сверху, наряженная, вся желтая, толстая, как покойница, стонет, шуршит по лестнице платьем. Я вырвалась, стою без платка, а она и вот она — прямо к нам. Он мимо нее да драло, а я стою, как дура, не знаю, что делать. Постояла она, постояла против меня, подержала шелковый подол, — как сейчас помню, в гости нарядилась, в коричневом шелковом платье была, в митенках белых, с зонтиком и в шляпке маленькой, вроде корзиночки, — постояла, застонала и вышла. Выговаривать, правда, ни ему, ни мне ни слова не стала. А как уехал полковник в Киев, она и прогнала меня.

Собрала я свое добришко и вернулась к сестре (Ваня-то у сестры жил). Сошла с этого места и опять думаю: пропадает задаром мой ум, ничего я не могу себе нажить, прилично замуж выйти и свое собственное дело иметь, обидел меня Бог! Запрягусь, думаю, сизнова и уж жива не буду, а добьюсь своего, будет у меня свой капитал! Подумала, подумала так-то, отдала Ваню в ученье к портному, а сама в горничные, к купцу Самохвалову определилась, да и отдежурила цельных семь лет... С того и поднялась.

Жалованья положили мне два с четвертаком. Прислуги две — я да девушка Вера. Один день я за столом, она посуду моет, другой я посуду мою, она к столу подает. Семейство не сказать чтоб большое: хозяин Матвей Иваныч, хозяйка Любовь Иванна, две взрослых дочери, два сына. Сам хозяин человек был серьезный, неразговорчивый, в будни никогда и дома не бывал, а как праздник, сидит у себя наверху, читает всякие газеты и сигару курит, а хозяйка простая, добрая, тоже, как я, из мещанок. Дочерей своих, Аню и Клашу, они скоро просватали и две свадьбы в один год сыграли, — выдали за военных. Тут-то, правду сказать, и начала я копить маленько: уж очень много на чай военные давали. Сделаешь просто даже безделицу какую-нибудь — спички когда так-то подашь, шинель с калошами, — глядишь, двадцать копеек,

тридцать... Да и хаживали мы чисто, нравились военным. Вера, та, правда, из себя все чтой-то строила, барышню какую-то, – ходит мелкими шажками, нежна и обидчива до крайности, сейчас, чуть что, брови свои пушистые сдвинет, губы, как вишни, задрожат и уж слезы на ресницах, – хороши, правда, ресницы были, большие, я таких ни у кого не видывала! – ну, а я то поумней была. Я, бывало, надену лиф гладкий, с прошивками, рукава короткие, на голову косу накладную с черным бантом бархатным, белый передник подкрахмаленный – так на меня даже взглянуть интересно. Вера, та все в корсет затягивалась, – затянемся мочи нет как тugo, и сейчас же голова у ней до рвоты разболится, – а я никогда и не знала этого корsetа, и так ладная была... А сошли военные, стали сыновья хожайские давать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.